

«Дневники» М.М. Пришвина 1940–1943 годы

Многотомное издание дневников М.М. Пришвина, основательно и добросовестно осуществляемое на протяжении многих лет под руководством Л.А. Рязановой¹, не могло не привлечь к себе внимания как литературоведов, так и историков, изучающих различные аспекты общественной жизни первой половины XX в. (от религиозно-философских исканий до деталей частного быта). В этих томах отразилась эпоха войн и революций, возникновение нового, «советского» общества, наконец, жизнь и настроения тыла в годы Великой Отечественной войны.

Недавно вышедшие дневники военных лет (*Пришвин М.М. Дневники. 1940–1941. М.: РОССПЭН, 2011; он же. Дневники. 1942–1943. М.: РОССПЭН, 2012* – далее ссылки на них даются в тексте), безусловно, заслуживают особого рассмотрения и разговора, хотя бы в силу непреходящего значения событий того времени для нашего исторического самосознания. При этом, конечно, нужно учесть, что Пришвин в своих суждениях и оценках часто бывает страстен до односторонности, самоуверен и одновременно плохо информирован. По большей части он живёт в глуши, а приезжая в столицу, возвращается в узком и довольно специфическом кругу советских литераторов (в основном – старшего поколения). В своих записях он сосредоточен скорее на собственных переживаниях и мыслях, нежели на точном изложении наблюдений за происходящим вокруг. Пожалуй, меньше всего его дневник напоминает хронику своего времени. Во всяком случае, свидетельства очевидца, в прямом смысле слова, встречаются на его страницах довольно редко.

Однако основная ценность дневников писателя 1940–1943 гг. видится всё же в другом. Прежде всего нужно отметить, что Пришвин делал записи основательно и регулярно, подробно описывая свои реакции и рассуждения, которые представляют интерес не столько своею прозорливостью (ею они, как раз, обычно не отличаются), сколько широким диапазоном надежд, предположений и интерпретаций. Дневник выразительно передаёт, как в ту грозную пору воспринимались Пришвиным настоящее, прошлое и возможное будущее, он отражает преимущественно не *происходившее*, а *казавшееся* – то, что тогда *казалось* Михаилу Михайловичу и *могло казаться* людям его круга и схожей судьбы. Но само по себе это *кажущееся*, гадательное, надуманное зачастую лучше любых «правильных» объясняющих формулировок позволяет понять специфические черты мышления и мироощущения этих людей.

Размышления Пришвина интересны и как последовательно непоследовательное изложение противоречивых (и даже запутанных) взглядов человека и

¹ См.: *Пришвин М.М. Ранний дневник. 1905–1913. СПб., 2007; он же. Дневники. 1914–1917. СПб., 1991; он же. Дневники. 1918–1919. СПб., 1994; он же. Дневники. 1920–1922. СПб., 1995; он же. Дневники. 1923–1925. СПб., 1999; он же. Дневники. 1926–1927. СПб., 2003; он же. Дневники. 1928–1929. СПб., 2004; он же. Дневники. 1930–1931. СПб., 2006; он же. Дневники. 1932–1935. СПб., 2009; он же. Дневники. 1936–1937. СПб., 2010; он же. Дневники. 1938–1939. СПб., 2010.*

художника, занимавшего весьма своеобразную позицию. В своём дневнике он выступает как продолжатель традиций русской литературы начала века (прежде всего В.В. Розанова, отчасти М. Горького), как писатель, ощущающий себя представителем старого, ушедшего и разрушенного мира, «гражданином 2-го разряда», очень хорошо вписавшимся, однако, в советскую литературу и сталинскую литературную политику. Михаил Михайлович, безусловно, испытывал обиду на современников, не умевших, как он считал, оценить его дарований. Обида эта вряд ли была обоснованной, но она обостряла его критическое отношение к действительности, выплёскивавшееся на страницы дневника. Конечно, Пришвин отнюдь не плохо устроился в Советском Союзе. Но само это устройство осознавалось и переносилось им как пленение, подчинение глубоко враждебной силе, пусть и не в «Вавилоне», а на родине. И как из любого плена тут было два возможных выхода: гибель и освобождение. Осмысление обеих этих возможностей в дневнике, пожалуй, особенно интересно. В чём именно выражается гибель? Возможно ли внутреннее освобождение (освобождение души и духа) в условиях плена? Можно ли быть освобождённым из плена на родине врагом своей родины и не будет ли такое «освобождение» горше самого «пленения»? Все эти вопросы ставились и решались в годы войны по-разному. Само отношение к войне, начавшейся 22 июня 1941 г., у людей, переживших и хорошо помнивших патриотический энтузиазм и разочарования 1914–1918 гг., было иным, в чём-то более настороженным и недоверчивым, нежели у тех, кто сформировался в 1920–1930-е гг. Дневник Пришвина передаёт именно их настроения и сомнения.

При этом взгляд Пришвина – взгляд художника-эгоцентрика, доходившего порою до самолюбования, но в то же время постоянно боровшегося за свою творческую и житейскую («под предлогом охоты») самостоятельность и индивидуальность. К тому же взгляд эгоцентрика на эпоху партийности, коллективизма, социалистического реализма и тотальной войны сам по себе более чем любопытен.

В обсуждении дневников писателя приняли участие кандидат исторических наук А.В. Голубев и доктор исторических наук В.А. Невежин (Институт российской истории РАН), доктор исторических наук Н.И. Цимбаев (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и Н.А. Стрижкова (Российский государственный архив литературы и искусства).

Александр Голубев: Мир начала 1940-х гг. глазами русского писателя

В российской историографии прочно утвердилось мнение, что в сталинскую эпоху лишь немногие вели дневники, поскольку в период Большого террора, да и не только тогда, подобного рода записи могли осложнить положение их автора, если он оказывался под следствием. При этом были известны преимущественно дневники представителей творческой интеллигенции, которые обычно подвергали свои тексты, даже не предназначавшиеся для публикации, жёсткой самоцензуре. Как любое общее положение, в целом верное, данное представление требует вместе с тем ряда оговорок. Прежде всего, неизвестно реальное количество советских граждан, которые вели дневники, пусть и по разным причинам не дошедшие до нас, и какой их процент можно считать высоким, а какой – низким. Во-вторых, мы можем примерно оценить численность дневников, отложившихся в крупнейших архивохранилищах, таких как

РГАЛИ, рукописные отделы РГБ и РНБ или, например, «Народный архив». Их действительно немного. Но кто скажет, сколько дневников хранится в местных или ведомственных архивах, в следственных делах НКВД или просто в семьях их авторов? Наконец, в последние годы в научный оборот полностью или частично вошли десятки дневников, которые вели колхозники и школьники, мелкие служащие и учителя, представители интеллектуальной и политической элиты. Причём некоторые из них охватывают большой временной период, содержат довольно обширную информацию и практически свободны от самоцензуры. Яркие тому примеры – многотомные дневники академика В.И. Вернадского и дневник Л.В. Шапориной.

По сравнению с воспоминаниями, дневники имеют то преимущество, что в них запечатлена сиюминутная ситуация, причём именно так, как её в данный момент воспринимает автор. Помимо своих собственных впечатлений и размышлений, он фиксирует мелочи быта, высказывания друзей и знакомых, своё отношение к тем или иным значимым событиям. Всё это достаточно редко отражается в других видах источников, за исключением, пожалуй, частных писем, но там подобные сюжеты гораздо более фрагментарны, да и частных писем, не считая «писем во власть», также сохранилось немного. И потому, когда были опубликованы дневники К.И. Чуковского, И.И. Шитца, Вернадского, особенно Шапориной, у некоторых исследователей появилось искушение – поверить, что именно здесь, в этих достаточно искренних и, как правило, критических высказываниях и заключается подлинная правда о мыслях советских людей и настроениях советского общества.

В своё время такую же реакцию вызвала публикация информационных сводок НКВД – их сперва тоже объявляли единственно верным отражением ситуации в стране. Но постепенно возобладало более взвешенное отношение к этим материалам, которые имели свою специфику и при всём богатстве содержащихся в них сведений являются лишь одним, важным, но никак не заменяющим другие, источником по истории советского времени.

Изучая дневник, даже самый откровенный, автор которого пытается с максимальной объективностью фиксировать всё происходящее вокруг, необходимо помнить, что мы имеем дело лишь с отдельным фрагментом огромной мозаики. Но это вовсе не означает, что каждый конкретный дневник не заслуживает самого пристального и разностороннего изучения.

В полной мере это относится к дневникам М.М. Пришвина, которые он вёл практически всю свою жизнь, с 1905 по 1954 г. Уже опубликовано 13 томов, последние два из них охватывают соответственно 1940–1941 и 1942–1943 гг. (публикация будет продолжаться). Как отмечено в аннотации к тому, посвящённому 1940–1941 гг., «в эти годы жизнь и творчество Михаила Пришвина определяются двумя событиями: любовь и война». Это действительно так, но, конечно, содержание его записей этими двумя сюжетами не исчерпывается. Попытаемся проследить, как автор дневника воспринимал события и процессы, происходившие в мире накануне Отечественной войны.

Существует целый ряд концепций, предназначенных для изучения представлений социума или личности о других народах и культурах. Там, где речь идёт о массовом сознании, на первое место выдвигаются стереотипы – этнические, внешнеполитические, инокультурные. Для анализа взглядов представителей интеллектуальной элиты нередко используется такое понятие, как образ, отличающийся от стереотипа полнотой, разносторонностью, и, главное,

носящий индивидуальный характер². Подобную иерархию предложила, в частности, французская исследовательница С. Марандон. Она выделяет предрассудки, не опирающиеся на факты, как низший уровень представлений, затем следуют упрощённые стереотипы, также почти не опирающиеся на факты, далее – образы в подлинном смысле слова (более или менее полные представления, в которых отдельные черты составляют связанное целое), а на более высоком уровне – идеи и мнения³.

Данный теоретический экскурс имеет прямое отношение к дневникам Пришвина. Там почти нет стереотипов, пропагандистских клише, даже образов отдельных стран. Преобладают, по классификации Марандон, идеи и мнения, причём достаточно оригинальные и зачастую неожиданные. Богатый жизненный опыт, прекрасное образование, полученное в том числе и в Европе, юношеское увлечение марксизмом и позднейшее в нём разочарование, наконец, многолетняя привычка к напряжённому философскому анализу позволили Пришвину сформировать своё видение мира, далёкое от тех или иных привычных идеологов. С ним можно не соглашаться, спорить, но это видение представляет несомненный интерес и по-новому заставляет взглянуть на процессы, происходившие в советском обществе, в духовной сфере в том числе.

Прежде всего, писатель далёк от примитивного противопоставления социализма и нацизма или тоталитарных и демократических режимов. У него своя концепция развития международных отношений и мировых процессов. В июле 1940 г. он делает несколько в высшей степени значимых записей: «На “Хочется” и “Надо” сейчас можно весь мир разделить: Англия – Америка, бывш[ая] Франция – это всё Хочется. Германия и всё, что позади её к востоку, и весь восток – это всё Надо. Мало того! “Хочется” заключено в чисто капиталистических странах, “Надо” – в тех, где возможен социализм» (1940–1941, с. 223). И далее: «*Я стою за победу Германии* (курсив мой. – А.Г.), потому что Германия это народ и государство в чистом виде и, значит, личность в своей сущности остаётся нетронутой, тогда как в Англии государство принимает во внимание личность, ограничиваемую возможностями современности. От этого, конечно, удобнее жить в Англии, но теперь вопрос идёт не об удобствах, а о самом составе личности, о явлении пророков, вещающих сквозь радио и гул самолётов. Я больше верю в появление таких личностей там, где личность целиком поглощена, а не 95% + 5% свободы: цельность – есть условие появления личности» (Там же, с. 224–225).

Выступает ли здесь Пришвин сторонником Гитлера? Вообще говоря, в советском обществе 1930-х – начала 1940-х гг. такие настроения встречались не так уж редко. В частности, многие представители интеллигенции, как отмечалось в материалах ОГПУ, «с интересом и одобрением» следили за политикой Гитлера как накануне его прихода к власти, так и в первые годы существования «тысячелетнего рейха». Часть советских граждан одобряла некоторые аспекты внутренней и внешней политики Гитлера, например, решение многих социальных проблем, быстрый рост международного статуса Германии. Те, кто был настроен оппозиционно по отношению к существующему в СССР строю,

² См.: Казакова О.Ю. Понятийный аппарат исследований инокультурных представлений // Российская история. 2010. № 5. С. 10–32.

³ Цит. по: Ерофеев Н.А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских (1825–1853 гг.). М., 1982. С. 8.

поддерживали также антикоммунистические репрессии в Германии и антисемитизм её властей⁴.

Но вряд ли Пришвина можно отнести к этой категории. «Идеи и мнения», подобные тем, что высказывал он, в начале и середине 1930-х гг. разделяли и многие весьма уважаемые представители западной интеллигенции. В лице режимов Гитлера и Муссолини (а также, кстати, и Сталина), они видели своеобразный вызов европейской цивилизации, которая, казалось, находилась в бесконечном кризисе. После начала Второй мировой войны подобные суждения в странах Западной Европы если не исчезли совсем, то крайне маргинализировались. Но Советский Союз на тот момент оставался в стороне от международной схватки, и Пришвин пока мог выбирать (как и советское руководство в своей политике), какой стороне сочувствовать.

Важно сделать существенную оговорку: для нас гитлеровский режим безусловно является абсолютным злом, причём заслуженно, и сама мысль о сочувствии ему, о нормальных или даже союзнических отношениях с ним вызывает протест. Но для Запада до сентября 1939 г. и для СССР до июня 1941 г. это был режим хотя и диктаторский, агрессивный, со многими негативными чертами (чего стоил хотя бы его антисемитизм!), но тем не менее вполне легитимный, международно признанный, даже, как сейчас принято говорить, «рукопожатный» (на Западе, во всяком случае, его нередко предпочитали режиму сталинскому, да и советское руководство время от времени чувствовало себя комфортней в отношениях с Берлином, чем с Лондоном, Парижем или Варшавой).

В своём дневнике Пришвин не раз размышлял об особенностях советского и нацистского режимов. Термин «тоталитаризм» он не употреблял, но тем не менее признавал глубинное сходство двух политических систем. Важно, однако, отметить, что сходство это он видел не в репрессивной политике государства, не в жёсткой идеологической цензуре и проч. (хотя, конечно, всё это он прекрасно осознавал). Для него важнее то, что «Англия стоит за силой принципа капитала», а «Германия, как и Россия вынуждены были выйти из этого принципа купли, и от этого капиталистическое равновесие нарушилось» (Там же, с. 229). Но он замечает не только сходство. «Германия идёт, как один человек (так говорится, чтобы выразить силу: *все как один*). И этот *один* называется Гитлер, – записывает Пришвин 24 августа 1940 г. – В этом и есть основание монархии: все как один. Напротив, основание социализма, демократии: один как все. Итак, монархия – все как один, коммунизм: каждый как все» (Там же, с. 252)⁵.

Высказывания Пришвина о близости социализма и нацизма, вырванные из контекста, нередко цитировались, особенно в 1990-е гг. Но вот проходит совсем немного времени, и писатель корректирует свою точку зрения. «Вчера вечером, – указывает он 26 сентября 1940 г., – всё-таки совершилось для меня большое событие, я переменяю свою политическую ориентацию. Раньше я думал, что мы постепенно эволюционируем под германский фашизм, они же примирятся с фактом коммунизма. Теперь я подумываю, что Германия, может быть, в процессе своего поражения сама станет коммунистической и вместе с нами станет против Англо-Америки. Так, наверно, и будет, если между

⁴ Подробнее см.: Голубев А.В. «Если мир обрушится на нашу республику...» Советское общество и внешняя угроза в 1920–1940-е гг. М., 2008. С. 149–155.

⁵ Любопытно, что ещё в 1930 г. Пришвин был уверен, что «новая история будет история борьбы фашизма с коммунизмом» (Пришвин М.М. Дневники. 1930–1931. С. 261).

Англией и Германией не будет заключён мир за счёт нас» (Там же, с. 276–277). «Итак, – заключает он два дня спустя, – 1-я сторона, это Англо-американский капитал (всё куплю). 2-я – Германо-итало-японский национализм (всё возьму). 3-я – плановое социалистическое хозяйство. Капитал: частная инициатива, включающая экспансию индивидуализма и духовного космополитизма. Национализм: индивидуум как представитель народа (народная инициатива). Социализм: индивидуум как представитель Всечеловека. Итак, будущий мир должен быть умирён правильным сочетанием элементов человеческого творчества: 1) личности, 2) народности и 3) общечеловеческого хозяйственного плана. Каждая из борющихся ныне 3-х сторон борется за то, что необходимо для всех трёх и чего две другие стороны не принимают. Так, если бы сошлись три человека: экономист, моралист и художник, и каждый стал бы навязывать насильно друг другу своё, исключаящее всё другое, то и получилась бы картина современной войны» (Там же, с. 278). Теперь Пришвин усматривает разницу между коммунизмом и нацизмом и ожидает столкновения между ними – но с участием третьей стороны. Впрочем, 15 ноября 1940 г. советско-германская война всё ещё казалась ему маловероятной: «Еврейская (и сочувствующих им) агитация против Гитлера и за войну с Германией была в последнее время так заметна, что я перестал верить в эту войну и упрямо твердил: “У нас с Германией долго не будет войны”» (Там же, с. 318).

Чуть позже, в середине марта 1941 г., он напишет: «Всё реакционное, как опилки на магните, собирается к Гитлеру: всё и Розанов⁶, всё, всё там собирается. На другом полюсе магнита коммунизм. Тут и вся борьба, а демократия – это помесь и компромисс. Итак, три физиономии: Германия, Россия и Америка. Англия подлежит поглощению или Америкой, или Германией» (Там же, с. 401). Тогда же у Пришвина появляется новая, не совсем обычная для него нотка. «Самое главное, – утверждает он 12 марта, – это что нравственная деградация совершается и за границей, и ещё может быть, в большей степени, чем у нас. И скорее даже наоборот, надежды о лучшем могут собраться сюда, в наш Союз (пакт с коммунизмом подорвал фашизм)» (Там же, с. 400). В те дни писатель полагал, что «коммунисты народ правильный, выполняют Божье дело, но когда кончат назначенное – будут механизированы, т.е. войдут в государственный механизм как мёртвые» (Там же, с. 401).

Впрочем, эти мысли не получили (по крайней мере, сразу) дальнейшего развития. Весной 1941 г. Пришвина более всего волновала перспектива возможной войны СССР то ли с Германией, то ли с Америкой, то ли с Японией... По-видимому, в самой атмосфере апреля–мая 1941 г. носилось что-то тревожное. Но вопреки неисчислимым позднейшим мемуарам, тогда мало кто (начиная со Сталина и кончая тем же Пришвиным) понимал, куда именно поворачивают колёса истории.

Лучше всего опять-таки предоставить слово самому Пришвину: «Передали устно, – записывает писатель 6 апреля, – что Германия объявила войну Югославии, а мы одновременно заключили с Югославией пакт. Поставлен вопрос, всерьёз это мы – воевать с немцами, или это есть очередной дипломатический трюк» (Там же, с. 416). И буквально через несколько дней он заносит в дневник: «Сегодня пакт с Японией, значит, война Европы и Азии с Америкой» (Там же, с. 425). Таким образом, Пришвин, как и его современники (в отличие от

⁶ Очевидно, имеется в виду российский литературовед Иван Никанорович Розанов (1874–1959).

множества мемуаристов, которые сейчас утверждают, будто с самого начала всё ясно видели и понимали), допускал самые разные сценарии развития международного кризиса, охватившего всю Европу.

Одновременно он задумывался и о возможных результатах приближавшейся войны. Видя, как его собеседники «хотят немцам победы больше, чем себе, в немецком гении чувствуют своё торжество», писатель предсказывал 28 апреля 1941 г.: «Надо полагать, что немцы погонят Турцию в Азию, а мы займём проливы, как Польшу. Но что, если турки просто пропустят немцев к Суэцкому каналу?» (Там же, с. 440). «Америка знает, что после поражения в Европе будет революция и господином положения станет СССР, как “третий смеющийся”», — отмечал он, характеризуя «Политическое положение» 1 июня (Там же, с. 470). 5 июня ему представлялось, что «воевать — значит начинать революцию в Европе, не воевать — сдаваться немцам на мирную эксплуатацию страны как колонии» (Там же, с. 472).

28 апреля 1941 г. Пришвин записал в дневнике: «Мысль прикована к загадке истории: скоро, знаем все теперь, что очень скоро прочитаем разгадку, и с трепетом ждём». Эта загадка была разрешена 22 июня, когда, по словам Пришвина, «пришло ясное сознание войны как суда народа» (Там же, с. 491).

***Владимир Невезжин: Великая война в восприятии «человека непартийного»
(полемические заметки)***

Дневниковые записи являются важным источником по истории общественных настроений периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. При этом сохранившиеся дневники писателей военных лет представляют особый интерес. Синхронное изложение событий самого грандиозного вооружённого столкновения XX в. на профессионально высоком литературном уровне позволяло точнее передать рефлексию автора дневника, зафиксировать быструю смену (либо, наоборот, сравнительно медленную эволюцию) умонастроений его и окружающих под влиянием происходившего.

Уже поэтому дневниковые записи 1940–1943 гг. признанного классика русской литературы писателя-натуралиста Михаила Михайловича Пришвина, изданные с подробными, хотя и не бесспорными комментариями Я.З. Гришиной, представляют несомненную ценность.

В небольшой заметке трудно охватить всё их содержание, однако нельзя не обратить особое внимание на специфическое восприятие Пришвиным драматических событий лета–осени 1941 г., а также победы Красной армии в переломном Сталинградском сражении, совпавшей по времени с 70-летним юбилеем писателя и его попытками оценить пройденный путь и собственные творческие заслуги.

Уже дневники Пришвина 1920–1930-х гг. свидетельствовали о том, что его гармоничный «роман» с русской природой развивался на фоне «флирта» с большевистской властью, точнее, со сталинским режимом. Этот «флирт», в условиях нараставших политических репрессий представлявший для Пришвина опасность, вызывал у него разнообразные ассоциации и чувства (от скрытой ненависти до невольного одобрения), весьма откровенно выражавшиеся затем в дневнике. 2 апреля 1938 г., когда террор, приведший к физическому истреблению значительного числа «старых большевиков», достиг своего пика, Пришвин писал, излагая свои политические убеждения: «Не могу с большеви-

ками, потому что у них столько было насилия, едва ли им уже простит история за него. И с фашистами не могу, и с эсерами, я по природе своей *человек непартийный* (выделено мной. – В.Н.), и это необязательно – быть непременно партийным»⁷.

Подобного рода «раздвоение жизни» (по терминологии О.В. Будницкого⁸), которое Пришвин наблюдал в современном ему обществе, а затем тщательно фиксировал в дневнике, несомненно, было присуще и ему самому. В полной мере это прослеживается и в записях 1940–1943 гг. Писатель, судя по всему, не испытывал никакой душевной тревоги в связи с нарастанием военной опасности для СССР во второй половине 1940 г. Анализируя летом 1940 г. перспективы войны, в которую уже втянулись Англия и её союзники, с одной стороны, и Третий рейх – с другой, Пришвин отмечал в дневнике, что «дело Гитлера» для него «предпочтительнее дела союзников» (1940–1941, с. 206), и он стоит теперь «за победу Германии» (Там же, с. 224). Впрочем, два месяца спустя он всё-таки «переменил политическую ориентацию». Если раньше ему представлялось, что сталинский режим якобы постепенно эволюционирует «под германский фашизм», а нацисты будут вынуждены примириться с самим «фактом коммунизма», то теперь он стал думать иначе. По всей вероятности, рассуждал в дневнике писатель, «в процессе своего поражения» нацистская Германия «сама станет коммунистической» и вкупе с СССР выступит против Англии и США (если, конечно, Англия и Германия не заключат между собой мирный договор).

Однако, по большому счёту, события всемирного масштаба в 1940 г. мало волновали Михаила Михайловича. В это время его голова практически полностью была занята думами и заботами об устройстве семейной жизни с Валерией Дмитриевной Лебедевой (Лялей), которая стала его супругой после того, как он развёлся с Ефросиньей Павловной. Главное теперь виделось ему в том, что вполне достоверна лишь та сущность жизни, которая пришла к нему «через Лялю». «В соотношении с этой сущностью, мировая война представляется чем-то вроде игры в шахматы», – признавался он 26 сентября 1940 г. (Там же, с. 276–277).

Я.З. Гришина утверждает, что в дневнике М.М. Пришвина 1941 г. «воссоздаётся нравственно-философская парадигма» одного из представителей узкого слоя русской интеллигенции, выжившего после Октябрьской революции, но не сломленного, продолжившего «вопреки всему, культурно осваивать новую жизнь». По её мнению, писатель «не уходит от неразрешимых вопросов современной жизни» (Там же, с. 760, 761). Однако в ряде суждений Пришвина в начальный период войны также проявлялся роковой синдром «раздвоения жизни». В момент нападения Германии на СССР Пришвин вместе с женой Валерией Дмитриевной находился в Старой Рузе. Молодожёны надеялись приобрести в окрестностях этого города частный дом. Примечательно, что умудрённый жизненным опытом писатель, в памяти которого надолго запечатлелись драматические перипетии событий 1914–1917 гг., не решился делать какие-либо прогнозы относительно исхода новой войны, ограничившись 22 июня 1941 г. фаталистическими сентенциями: «Ничего не скажешь, суд скажет, все мудрые стали глупенькими перед этим судом» (Там же, с. 492).

⁷ Пришвин М.М. Дневники. 1938–1939. С. 57.

⁸ Подробнее см.: «Свершилось. Пришли немцы!» Идеиный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны. М., 2012. С. 10.

Поражения Красной армии на фронте заставляли Пришвина беспокоиться о судьбе его новой семьи (Ляли и тёщи) и всё чаще задумываться о том, чтобы «от немцев бежать». Это, полагал он в конце июня, «становится с каждым днём очевидной необходимостью, потому что с немцем дружить хорошо, если же воевать, то надо его победить» (Там же, с. 501). 1 июля 1941 г. мысль писателя буквально «вертится между лесом и Москвой – где бы лучше спастись: в Москве или в лесу. К этому всё теперь и сводится» (Там же, с. 503). Впрочем, уже в конце августа 1941 г. Пришвину пришлось отказаться от идеи «переждать в лесах». Он чувствовал, что «пересидеть до отступления немцев невозможно: выдадут». Оставаться же на оккупированных территориях «на легальном положении» было ещё опаснее, поскольку от известного писателя могли потребовать «активного выступления» в поддержку Германии (Там же, с. 554).

К речи, произнесённой И.В. Сталиным по радио 3 июля 1941 г., Пришвин отнёсся с недоверием. Он признавал, что она «вызвала большой подъём патриотизма», но сомневался в том, «действительный это патриотизм или тончайшая подделка его» (Там же, с. 503). По мнению Я.З. Гришиной, под впечатлением от упорства, проявленного Красной армией при обороне Смоленска, Пришвин понял (как пишет исследовательница): «с русским человеком произошло чудесное воскресение, все почувствовали, что плен кончен и начинается народная жизнь». Именно это (судя по комментариям Гришиной, вне всякой связи со сталинской речью 3 июля) и знаменовало начало собственно Великой Отечественной войны (Там же, с. 762–763).

Между тем Пришвин находился в начале июля в настроении, близком к паническому. Ещё 5 июля он отметил в дневнике: «Чудо! Случилось такое, чего никак нельзя было ожидать: весь народ поднялся» (Там же, с. 505). Но уже 8 июля ему «стало ясно, что [приобретённый] домик надо бросать и утекать пока в Москву». Он обдумывал следующие возможности: «1) Поселиться недалеко от Москвы и участвовать своими статьями в борьбе (против немцев. – *В.Н.*). 2) Уехать подальше, на [реку] Белую к Уралу, жить охотой и дожидаться конца войны. 3) Устроить там где-нибудь старушку (тёщу. – *В.Н.*) и Лялю, а самому вернуться» (Там же, с. 507). В этом выборе между Москвой и «глубинкой» ему виделся летом и осенью 1941 г. «центральный вопрос спасения жизни, а спасти её надо, потому что могу написать ещё много хорошего». Пришвин старался как можно чаще ездить в столицу (благо, летом 1940 г. он получил в личное пользование автомобиль «Газ-М-1») и одновременно расширять знакомства с людьми «на местах», где он проживал большую часть времени с женой и тёщей (Там же, с. 600).

При этом в диалогах с окружающими, пытавшимися порою «вкрутить» его в явно нежелательные споры «о немцах и большевиках», Пришвин (по собственным словам, «повторяя про себя заклинание») заявлял буквально следующее: «К сожалению, я настолько несовершенный политик, что немцев и большевиков судить отказываюсь – это Бог рассудит, мне же лично будет легче устроить своих близких людей, если победят большевики. И потому я желаю, чтобы немцев поскорее отогнали» (Там же, с. 525). В дневнике он формулирует свою позицию столь же уклончиво: «Никто не должен победить в этой войне, потому что все правы и все неправы. Война эта будет независимо от победы той или другой стороны разрушением обманных перегородок в обществе, революцией» (Там же, с. 540).

В декабре 1941 г. началось контрнаступление Красной армии под Москвой, которое закончилось первой крупной победой над вермахтом и заставило не-

мцев отступить от советской столицы. Весть об этом застала Пришвина в селе Усолье (Ярославской обл.), куда он отправился в эвакуацию в августе 1941 г. Читая 23 декабря «свежие газеты», Пришвин убедился: «немцев под Москвой мы с помощью мороза действительно поколотили». Писатель также признал, что «по всей вероятности, “зверства” у немцев действительно существуют», однако, по его словам, «при наличии неожиданного для них сопротивления русских и невозможно воевать без зверства». При этом он с удовлетворением констатировал: «Ориентация очень многочисленных сограждан в том, что немцы устроят русское государство и жить в нём сразу станет лучше, чем при большевиках, – проваливается» (Там же, с. 737).

1942 г. оказался для Пришвина довольно трудным не только в бытовом аспекте (сказывалась неустроенность жизни в эвакуации), но и в плане его духовных исканий, связанных с переоценкой грандиозных событий, происходивших на советско-германском фронте. Попытка контрнаступления на юге привела к катастрофическим для Красной армии последствиям: немцы ринулись на Северный Кавказ, подступили к Сталинграду. Неудачи на фронте наводили писателя в сентябре на невесёлые мысли: «Если не случится чего-нибудь неожиданного, то, по-видимому, Гитлер будет зимовать на Волге, мы в Москве в положении осаждённых» (1942–1943, с. 289). Гитлеровская «зимовка» на Волге была прервана Красной армией, которая блестяще провела наступательную операцию, завершившуюся окружением и уничтожением крупной группировки противника. После судьбоносной победы под Сталинградом начался коренной перелом не только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.

Своего рода перелом произошёл и в сознании Пришвина. Однако он был связан не только с переоценкой военных событий и роли «человеческого фактора». Для него оставались неведомыми истоки силы, укрепившей человека, который на войне «преображается и становится героем», хотя у него «дома нет ничего своего, за что бы постоять». «Боюсь, что по старости лет отстаю от времени и чего-то существенного не понимаю», – признавался писатель, беседуя 23 января 1943 г. с местным лесником (Там же, с. 398). На деле скептическое уmonoстроение Пришвина сильнее всего поколебала правительственная награда, приуроченная к его 70-летию. Данный сюжет, весьма важный для понимания внутреннего мира писателя, деликатно обойдён в комментариях Я.З. Гришиной к его дневникам 1942–1943 гг. Между тем 5 февраля 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О награждении писателя Пришвина Михаила Михайловича орденом Трудового Красного Знамени»⁹. Указ Верховного совета о награждении, опубликованный на следующий день в «Литературной газете», по словам Пришвина, был «окружён поздравлением Сталина с победой [под Сталинградом] президентом Рузвельтом и другими важными лицами, свидетельствующими тут же чуть ли не о вечной славе его имени в истории». «Что может быть фантастичнее!», – восклицал писатель, намекая на свою «приобщённость» к важному историческому событию и к именам выдающихся политических деятелей. Он тут же почувствовал «настроение свободы от злости на власть». «Я принял этот орден, – заявлял Пришвин, – как “свободу от страха” и частью от нужды и особенно, пожалуй, в положении писателя как свободу от обиды и несправедливости, 25 лет сопровождавших мою писательскую де-

⁹ Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952: Каталог. Т. III. 1940–1952. М., 2001. С. 288.

тельность в Советском Союзе. Эти страхи, нужда и обида, поселяясь в душе человека, вечно ведут к ненависти и злобе, к поискам основной глубокой причины – врагу всего этого душевного плена» (Там же, с. 414, 415).

Данное признание во многом объясняет истоки «двойной жизни» и «двойного сознания» «свободного» литератора, «изнутри» не приемлющего большевистский режим, но, однако, спешащего сразу после получения «сверху» статуса «советского писателя-орденоносца» декларировать расположение к существующему строю и лично Сталину. Получив поздравительную телеграмму от директора Гослитиздата П.И. Чагина (назвавшего юбиляра «русским большевиком») и прочитав о себе в газете панегирик одного из начинающих сталинских «идеологов» – профессора П.Н. Федосеева, утверждавшего, что «высокоталантливые произведения» Пришвина «приобретают особую многозначительность в наши дни», писатель-натуралист, похоже, уже считал свой юбилей государственным делом. «Эти слова, – казалось ему, – явно указывают на то, что награждение орденом меня является политическим актом в таком значении: Пришвин не хочет подхалимствовать, как прочие, ну так сами устраняем от него необходимость в этом. И так вроде бы ласковой рукой погладили по затылку непокорное дитя. И как бы то ни было, но мне это было приятно» (Там же, с. 415–416). По мнению Пришвина, «смешки либералов над орденом глуповаты» (Там же, с. 418).

Избавляясь от ощущения принадлежности к «гражданам 2-го разряда» (1940–1941, с. 524), писатель стал с сочувствием обдумывать слова неизвестного собеседника («N») о том, что «надо создать очередь в распределении жизненных благ: первые станут маршалы и герои, потом дальше всё ниже починам и орденам, и каждый будет иметь превосходство в отношении сзади стоящего, и местом своим дорожить» (1942–1943, с. 419).

Впрочем, и перед войной М.М. Пришвин едва ли испытывал «нужду». Он являлся членом Союза советских писателей СССР, чьё 5-томное собрание сочинений было издано ещё при его жизни, а ежегодные гонорары составляли десятки тысяч рублей (огромная сумма по тем временам). Ему принадлежала элитная 4-комнатная квартира, расположенная в центре Москвы (в Лаврушинском переулке) и «Эмка», о которой в 1930-е гг. действительные советские «граждане 2-го разряда» могли лишь мечтать. При этом после начала Великой Отечественной войны Пришвин старательно избегал любого участия в публичных выступлениях с открытыми призывами дать отпор врагу. Попытки Я.З. Гришиной объяснить такую позицию тем, что писатель в эти годы руководствуется «отнодью не сиюминутными пропагандистскими задачами борьбы и войны» и именно поэтому «не пускается в отвлечённые рассуждения, но несёт в себе бремя личного участия в делах мира, бремя ответственности за мир» (Там же, с. 679), представляются, по меньшей мере, необидительными.

Что же касается всего огромного массива уже опубликованных дневниковых записей М.М. Пришвина военных лет, то их чтение – занятие не из лёгких. Однако несомненно одно: вне зависимости от специфики субъективного восприятия духовного мира и умонастроений писателя, они сами по себе дают обильную пищу для аналитического ума и, вероятнее всего, послужат в будущем солидной и репрезентативной источниковой базой для исторических исследований.

Чтение пришвинских дневников – занятие тяжёлое, утомительное и неблагоприятное, а впечатление, которое остаётся после ознакомления с ними, трудно определить иначе как тягостное. Столь категоричный вывод нуждается, разумеется, в пояснении. Вполне понятно, что он не может быть принят ни людьми, специально занимающимися жизнью и творчеством М.М. Пришвина, ни историками русской советской литературы. Дневники писателя, бесспорно, – ценнейший материал для понимания его личности, его художественной манеры, они – своего рода ключ к его этическому и эстетическому миропониманию. Несомненно, дневниковые записи, которые делались в течение четырёх лет – с января 1940 по декабрь 1943 г. – требуют соотнесения с более ранними и более поздними, коль скоро Пришвин вёл регулярный дневник на протяжении более полувека. Моя задача была иной: прочитать пришвинский дневник глазами историка, оценить его как человеческий и исторический документ предвоенных и военных лет, как свидетельство зрелого мастера слова, склонного к философским раздумьям. Стоит напомнить, что в русской литературно-общественной традиции такого рода свидетельства всегда ценились высоко. Понимая неполноту такого подхода, считаю его вместе с тем вполне правомочным.

Дневники Пришвина за 1940–1943 гг. – два отлично изданных многостраничных тома, которым предшествовали более ранние публикации. Издание сделано с любовью, снабжено серьёзным справочным аппаратом и тщательно прокомментировано. Комментарии касаются преимущественно обстоятельств личной жизни писателя, его творческих интересов и в гораздо меньшей степени, как впрочем и сами дневниковые записи, соотнесены с жизнью страны и народа. К примеру, удивляет, что при комментировании военных событий даются интернет-ссылки, из Интернета же нередко берутся цитаты.

На высоком уровне написаны предваряющие комментарий статьи Я. Гришиной, в центре которых, естественно, сам писатель. Во втором из рассматриваемых томов статья имеет заголовок: «Мысль – это жизнь бессмертной души моей...». Цитата-заглавие выбрана крайне точно. Она призвана передать предельный субъективизм дневниковых записей, замкнутость Пришвина на самом себе, на своих личных переживаниях. Собственно говоря, во многих случаях именно для того и ведётся дневник, и упрёк в эгоцентризме был бы излишен, если бы не упорное стремление автора мыслить категориями Космоса, Духа, мировой истории, судеб человечества и русского народа. Сочетание трудносочетаемого обретает иногда комические формы, но гораздо чаще вызывает недоумение и раздражение.

Едва ли не большинство дневниковых записей так или иначе посвящены Валерии Дмитриевне, Ляле, Лялечке – женщине, которая вошла в жизнь очень немолодого уже писателя в начале 1940 г., стала его второй женой, близким другом и во многом определила характер его идейных и творческих исканий, изменила, по собственному его признанию, его мировосприятие и миропонимание. Читать строки, посвящённые Ляле, глазами историка – занятие пустое. Но без понимания хода мысли любящего человека, всем своим существом обращённого к любимой женщине, невозможно правильно оценить содержание дневника русского писателя, который в разгар страшных событий войны пренебрегает ими, забывает о них на многих страницах, пересказывая бывшие и небывшие дневные и ночные супружеские разговоры. Одна из первых записей февраля 1940 г.: «Не знаю, любит ли она, как мне Хочется, и я люблю ли её как

Надо, но внимание наше друг к другу чрезвычайное, и жизнь духовная продвигается вперёд не на зубчик, не на два, а сразу одним поворотом рычага во всю зубчатку» (1940–1941, с. 35). В декабре 1943 г., пройдя через испытания повседневности и бесконечные размышления о любви к Ближнему и Дальнему, Пришвин в характерной для него манере охотоведа-писателя как бы подводит некий предварительный итог: «За эти четыре года она, как охотник на зайцев, обошла меня со всех сторон, и я, как зайчик, лежу где-то во мху под ёлочкой и наблюдаю удивлённо, как она меня кругом со всех сторон окладывает. Впрочем, мне это только приятно, потому что чувствую в себе какое-то “я-сам”, свободное от оклада» (1942–1943, с. 643).

Бесспорно, человек, ведущий дневник, волен заполнять его страницы записями любого рода, и их субъективизм не может быть предметом критики, а должен восприниматься как достоинство. Однако писатель, знающий себе цену и заведомо пишущий для скорой или нескорой публикации, ставит себя в странное положение, когда пылливый читатель безуспешно ищет в его дневнике хотя бы простого упоминания о Сталинградской битве.

Вторая линия, ясно прочерченная в дневнике, неразрывно связана с первой. Благополучие Ляли и её матери требовало повседневной заботы, что было непросто, особенно в условиях военных лет. Маститый писатель на страницах дневника предстаёт человеком практичным, ловким, а порой и циничным. В предвоенной Москве он пользуется всеми благами, которые советское государство предоставляло мастерам культуры его уровня. В военное лихолетье он постоянно живёт в деревне под Переславлем-Залесским, где вне всякой очереди и без особых расчётов получает колхозное молоко, картофель и другие продукты, через районные власти достаёт бензин для своей личной машины. Продуктами он запасается впрок и досадует, что свиная туша, заготовленная по осени, к весне стухла. Изредка наезжая в Москву, он столуется в Доме литераторов, и неприятно удивлён, что ему не выделили особых литерных обедов, полагающихся немногим видным советским писателям. Впрочем, в марте 1942 г. ему предоставили литерный обед К.М. Симонова, который в те дни был на фронте. О Симонове Пришвин до этого ничего не слышал (что просто удивительно), но привилегией воспользовался. Грустно читать: «Встреча с Симоновым (“я ваш обед ел”). А он сделал конфузный вид. Я на этом сыграл: попросил табачку. Дал. Попросил водки, сходил и принёс ½ литра и ½ кг селёдки. Вот достижение: рад и плюнуть хочется» (1942–1943, с. 122). Плюнуть в кого?

Здесь кстати отметить, что пришивинское неведение как имени, так и творчества Симонова – не игра. Не отказываясь от положенных советским писателям привилегий, живя в благоустроенной отдельной квартире в писательском доме в Лаврушинском переулке, Пришвин чуждался литераторов и литературных дрызг, снисходительно отзывался о знаменитых А.А. Фадееве, Л.Н. Сейфуллиной и К.А. Федине, недобрым словом вспоминал погибшего на фронте В.П. Ставского. Исключение, найденное Пришвиным среди современных советских писателей, точно как выстрел снайпера – это М.А. Шолохов, «редкостной чести писатель» (Там же, с. 102). Но это именно исключение.

Равными себе он признавал В.Я. Шишкова и С.Н. Сергеева-Ценского, не без зависти судил о мастерстве А.Н. Толстого. Пожалуй, дело не только в том, что ему были интересны ровесники. Дело и в том, что ему неинтересна современность. Неинтересен высокий патриотизм Симонова, как неинтересны советские газеты и радио. О последнем он судит так: «Это повторение

ежедневное всем противно, потому что в нём ни малейшего движения мысли и чувства» (Там же, с. 615). Согласиться с этим невозможно ни тем, кто слушал ежедневные сообщения Совинформбюро, ни их детям и внукам.

Вызывает интерес умение Пришвина в полной мере использовать не только свои связи, но и навыки, приобретённые за годы долгой жизни. В ожидании прихода немцев в октябре 1941 г. он ищет и находит в переславских болотистых лесах места, где закапывает тещино серебро, домашний скарб и писательский архив. Лес он знал отлично: «Я выбрал место боровое на краю той же самой болотники с выворотнем. Тут вокруг старого пня тесно стояли молодые сосенки. Земля тут до того бедная, что местами выступает на свет жёлтым пятном чистый песок, обрамляемый вереском. Мне это вышло на руку, потому что песок, который я выбрасываю из ямки, если его хорошенько разровнять, помести веником из сосновых мутовок, особенно обсыпать потом жёлтыми опавшими сосновыми хвоинками, представляется естественным пятном. О маскировке хвоинками меня надоумила Ляля, и я опять подивился её чувству природы» (1940–1941, с. 647).

Деловая хватка потомка елецких прасолов отлично помогала в трудные времена. В 1942 г. Пришвин усиленно занимается фотографией, запечатлевая тех, кто уходит на фронт, и радуется тому, что фотографирование позволяет ему всегда иметь на столе яйца, молоко, хлеб и мясо. В 1943 г. его запросы растут, и он, писатель-орденоносец, составляет черновик своего прошения в Совнарком: «Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне в ремонте моей персональной машины М1 или заменить мою машину другой, более хорошей. Ремонт сводится, главным образом, к замене поршней, крышек и, конечно, также к смене некоторых мелких деталей – подшипников, хвостовика и др. Машину свою я использую для собирания материалов народного творчества в отношении войны. Езжу на ней большей частью сам, без шофёра» (1942–1943, с. 665). Интересный человеческий и писательский документ декабря 1943 г.

В сделанной им в марте 1942 г. в высшей степени знаменательной записи осуждение войны перекликается с мечтами о послевоенном личном благоустройстве: «Мы все теперь знаем и на фронте, и в тылу, какая это мерзость война. И так как теперь во всём мире война, даже в Индии и на тех островах, где живут райские птицы, то мерзостное чувство распространяется на весь мир: нигде не лучше нашего. И райские птицы, наверное, если к ним хорошо присмотреться, так же гадят и непременно кричат и дерутся, как наши вороны. Теперь остаются нам только заповедники для пустынного житья. И если только останусь жив после войны, то выпрошу себе у государства клочок земли в Кавказском заповеднике, выстрою себе там домик и поселюсь навсегда» (Там же, с. 102). Ключевые слова здесь – «выпрошу себе у государства». Пришвин не сомневается ни в своём праве просить и даже требовать, ни в том, что государство обязано его требования удовлетворять. Да, он выдающийся советский писатель, и подобная постановка вопроса характерна для советской действительности. Но суть дела в том, что Пришвин принципиально не приемлет ни большевистское государство, ни сталинскую действительность.

Третья составляющая его дневника, по объёму наименьшая, но для историка самая важная – его размышления о природе власти большевиков, о социализме и фашизме, о характере русского народа и о демократии цивилизованных народов. Прежде чем давать оценку этих записей, следует указать на важную особенность писательской манеры Пришвина, которая, по-видимому, отражает

особенности его мышления. Помимо нарочитой усложнённости стиля, иногда переходящей в выпренность, он был склонен к закольцовыванию мысли, к самоповторам и пренебрежению простейшими логическими связями, к нежеланию замечать собственные противоречия. Примеры такой закольцованности имеются и в его дневнике: «Растопырив хвоинки пальчиками лапки, в глубине которой таились заложенные крупные светло-оранжевые живые ароматные почки, каждая веточка обнимает белый круглый снежный шар, растопырив под ними внизу, как пальчики, свои зелёные хвоинки» (Там же, с. 19).

Нет необходимости проследживать закольцованность пришвинской мысли – он, безусловно, не философ. И как мыслитель вторичен, слаб и неинтересен. Круг его чтения неширок и сформировался ещё в молодости, когда он отдал дань марксизму и писаниям В.В. Розанова и Д.С. Мережковского. Историософские рассуждения на страницах дневника постоянны, путанны и трудны для рациональной критики. «История человечества есть история борьбы индивидуума за выход из родовой необходимости путём убийства (организация власти) или путём любви (организация личности), – писал он 1 ноября 1943 г. – Оба пути в точке своего пересечения (крест) сосредоточивают борьбу этих сил: дня и ночи, света и тьмы, любви и власти, личности и государства, Христа и антихриста, *Бога и Дьявола*. Так что *крест* как таковой в жизни невозможен, подобно тому, как математическая бесконечность есть невозможная реальность. Жизнь же есть борьба этих сил, в которой люди распределяются между этими двумя полюсами, власти и любви, как распределяются опилки на магнитном поле» (Там же, с. 611–612). Что хотел сказать писатель? И чем «опилки» отличаются от «винтиков» большевистской диктатуры?

Себя Пришвин, разумеется, считал избранным и взысканным, проникшим в самую суть христианства. Ему, и едва ли не ему одному, понятна проповедь Иисуса Христа. Он презирует большевиков-безбожников и атеистическую интеллигенцию, строго судит «сергианскую» Церковь, не находит Бога в американской демократии, иные достоинства которой склонен признавать, и даже сомневается в Ляле, которая «не так» понимает Бога. Одновременно он воинствующе нецерковен. Его христианство – не вера, а идейное убеждение: «Вчера мы с Лялей были во всенощной, и я впервые понял, что к церковной службе следует относиться так же, как к личной молитве: надо от этих произносимых слов подниматься к своим собственным» (Там же, с. 610).

О русском православии он судит свысока: «Вся русская православная культура сводится к Ивану Дураку, а что сверх того, то от лукавого» (Там же, с. 617). Временами он прямо безбожен: «Женщины родят поневоле: попадают в “такое положение”. Если бы их воля, они бы не рожали» (Там же, с. 611). Читал ли Пришвин Священное Писание?

Шёл третий год войны, когда в дневнике писателя, имеющего претензию быть христианским, появилась декабрьская запись: «Маркс и Ницше – вот два бога современной войны, вокруг Маркса завертелась вся наша русская революционная философия Ближнего: ради идола Ближнего мы, русские, систематически стараемся уничтожить всё, стремящееся к Дальнему (личность). У немцев, напротив, война ведётся именем сверхчеловека (Дальнего) с крестовым походом против Ближнего. Оба эти бога – Маркс и Ницше, с религией Ближнего и Дальнего являются от распада в сердцах людей единого истинного Бога Иисуса Христа: Христос содержит в себе и борьбу и мир двух этих враждебных начал – Ближнего и Дальнего» (Там же, с. 655). Осмысление проис-

ходивших грандиозных событий мировой истории очень неглубокое, просто неинтересное. Но интересны выводы, к которым приходил Пришвин в своих метафизических поисках. На страницах дневника он не скрывает своего неприятия большевиков и совершённой ими революции: «В основе всякой социальной революции лежит каинова зависть, неминуемо приводящая к убийству» (1940–1941, с. 606). Вместе с тем его преклонение перед Личностью определяет выбор между двумя сравниваемыми идеологиями: «Хотя по внешности коммунизм пользуется теми же приёмами, как и фашизм, но по идейному содержанию фашизм и коммунизм противоположны, цель фашизма – государство, цель коммунизма – личность» (Там же, с. 406). Правда, в коммунизме, творящем Личность, в большевистском социализме Пришвин видит один серьёзнейший недостаток: «В России социализмом евреи воспользовались, чтобы установить своё господство» (1942–1943, с. 92). Этой темы он касается неоднократно, что не делает ему чести ни как христианину, ни как русскому писателю.

Крайне неприятна и другая тема – бессилие, слабость, ничтожество русского народа. «Законнейшее дитя русского народа», как он себя называл (Там же, с. 615), Пришвин и в начале войны, и в трагический 1942 г. не понимал истоков народного патриотизма и с изумлением смотрел на уходящих на фронт с высоко поднятой головой молодых крестьянских парней, которым, по его разумению, нечего было защищать. Он долгое время не видел ничего страшного в приходе немцев, ссылаясь при этом на мнения безвестных собеседников, жителей болотных переславских мест. В пришвинской картине мира военные поражения, отступление Красной армии и немецкая оккупация значат немного. 11 октября 1941 г. он записал в дневнике: «Говорят, что Ленинград окружён со всех сторон и сообщения с ним нет. Приходит в голову и простеца, что промышленно-политический центр жизни, если он и не взят, но окружён, не существует больше как руководящий центр жизни. А так как Киев взят, Одесса окружена, Ленинград окружён, Москва окружается, то остаётся лишь два вида на будущее. Первый вид – это что в такой великой войне Нового Света со Старым, накануне выступления Америки и Японии нынешнее положение России является лишь фактором второстепенного значения и война будет длиться ещё долго. Вторая же, болотная перспектива – это что на разделе России все помирятся, и в особенности довольно будет, конечно, самое болото» (1940–1941, с. 629). Вполне понятно, что претензии писателя говорить от имени «болота», иными словами, простого русского народа были лишены каких-либо оснований. В исторической же перспективе они выглядят просто дикими.

Поразительно, что, отвергая фашизм как идеологию, Пришвин одновременно видел в немецких оккупантах источник окультуривания «нашего русского православного племени», которое «стало теперь похоже на индейцев в Америке» (1942–1943, с. 126). Впрочем, к началу 1942 г. он был склонен признать, что «немцы приходили хорошо, а когда уходят, то грабят и жгут» (Там же, с. 68). В конце 1943 г. бывший выученик немецких профессоров оставался верен себе: «Страшен становится не тот немец, который дерётся под Киевом, а тот *необходимый* для русского немец-учитель, который учил нас и до войны во всех школах, и во время войны... Как нужен будет этот немец после войны, чтобы всех прибрать к рукам, всем наладить порядок жизни. Этот немец уже и сейчас к нам возвращается в школы, в церковь, в семью. И он, конечно, страшен для всех. Но всё-таки очень хорошо и слава Богу, что многие русские для этого сами переделаются – в этого немца необходимости общественной жизни,

чем если бы водворился сам исторический немец. Пусть лучше через нашего Сталина немец придёт, чем через Гитлера. Наверно, после войны и самый социализм делается орудием порядка этого немца необходимости. И весь наш анархический социализм будет тогда системой, обеспечивающей в государстве порядок» (Там же, с. 596).

Пришвин – не парадоксалист, он мыслит сумбурно, но достаточно прямолинейно. Отрицая государственность, государственное насилие и сталинскую действительность, он одновременно поклоняется государственному порядку, заимствованному у немцев, и удобно чувствует себя в этой действительности. В начале 1940 г. Пришвин записал свой разговор с близким ему Р.В. Ивановым-Разумником, который сочувствовал тогда «английской демократии» (!): «А японцам, – сказал я, – в 1904 году? [Никогда] японцам, – сказал он, – я тогда не японцам сочувствовал, а ненавидел царизм. – А в 14 году – помните? Как вы сочувствовали немцам? – Тоже из ненависти. – В таком случае, как же не подумать, что теперь англичанам сочувствие – тоже из ненависти? – А вам разве нравится? – Нет, но я русский человек, люблю русский пейзаж, люблю язык и народ его творящий. Я за это стою, а не из любви к Сталину, впрочем, Сталин... в высшей степени подходящий ко времени человек» (1940–1941, с. 10)¹⁰. К сказанному следует добавить одно: случайно оказавшись в оккупации, Иванов-Разумник стал деятельно сотрудничать с фашистами.

Приходится признать, что дневниковые записи М.М. Пришвина много дают для понимания его личности, которая стремилась мыслить себя вне своего времени и вне своего народа. Познавательная же ценность пришевского дневника как свидетельства о великом и трагическом времени ничтожна. Пришвин умел бродить по лесам и прекрасно их описывал. Если бы он этим и ограничился, то остался бы в памяти читателей поэтом русской природы. Но он выбрал другой путь.

Наталья Стрижкова: «Время, когда людей стало связывать слово»

Личный дневник всегда отмечен печатью сокровенного и тайного. Открывая дневник, мы как будто приподнимаем завесу частной жизни, заглядываем в окно чужой квартиры. В литературе этот жанр утвердился как интимные записи, «разговор с собой, монолог»¹¹, фиксирующий скрытое от прямого наблюдения течение жизни на стыке быта и бытия. Разные эпохи вносили изменения в структуру и восприятие этого жанра. Дневники советского периода обрели для нас особую значимость. Принято считать, что само время не располагало тогда к ведению дневников, которые могли стать прямой уликой, свидетельством неблагонадёжности. Как писал в своих мемуарах И.Г. Эренбург: «Наша эпоха оставила очень мало живых показаний: редко, кто вёл дневники, а письма были короткими, деловыми»¹². Постепенно сформировалось представление о дневниках как о документальном свидетельстве внутреннего сопротивления, молчаливой второй жизни людей, тайной оппозиции режиму и власти.

Однако в последние десятилетия наблюдается массовая публикация дневников и воспоминаний представителей разных социальных слоёв. В советское время стремление зафиксировать свой опыт и участие в исторических собы-

¹⁰ Отточие в тексте сделано М.М. Пришвиным.

¹¹ Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX в. История и теория жанра. М., 2003. С. 3.

¹² Эренбург И.Г. Годы, люди, жизнь. М., 1990. С. 46.

тиях появляется не только у интеллигенции, дневники и воспоминания писали рабочие, крестьяне, рабочая молодёжь, участвовавшая в социалистических стройках. Но неизменный интерес продолжают вызывать мемуары художественной элиты: писателей, поэтов, художников, музыкантов, актёров. Множество таких источников выявляются в фондах государственных и частных архивов и ждут своей публикации. Это обширное мемуарное наследие противоречит мифу о молчаливости советского общества.

Каждый такой источник является свидетельством индивидуального жизненного опыта и одновременно ключом к пониманию культурного кода эпохи. Страницы этих документов открывают нам развёрнутый диалог их авторов с реальностью, с обществом, передают порой мучительный поиск ими своей культурной идентичности. Сама жизнь предстаёт в них как пульсирующее подлинное содержание истории. Становится очевидным, что в строго очерченных границах идеологии и властных отношений самим обществом конструировалась иная реальность, за всеми идеологемами обретались жизненные ценности, которыми дорожили и искренне руководствовались. Их совокупность и формировала советский дискурс – то ценностно-смысловое поле, которое находилось в основе творческого поведения и повседневной жизни, наиболее полно выражаясь в письменных практиках.

Российский Государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) ведёт активную работу по комплектованию, изучению и публикации мемуарных источников. В 2010 г. вышел первый том справочника «Дневники и воспоминания XVIII–XX вв.»¹³, готовится к выходу второй том, который будет охватывать дневники и мемуары XX в., продолжается публикация дневников М. Кузмина, подготовлены к изданию воспоминания писателя Е.А. Долматовского, а также долгожданный дневник поэтессы и писательницы О.Ф. Берггольц. Первым таким изданием-открытием постсоветского десятилетия стали дневники М.М. Пришвина, с неизменной регулярностью выходящие вот уже 18 лет. В них перед читателями предстал не знакомый с детства сказочник Берендей и писатель-натуралист, а глубокий мыслитель, рефлекслирующий над исторической судьбой своего народа, анализирующий происходящие в стране социально-политические процессы в контексте всей русской и мировой истории, правдивый летописец, зафиксировавший все доступные его наблюдению события и явления своего времени. Дневники перевернули все представления о жизни и творческой биографии Пришвина, заставили переосмыслить его художественные произведения и понять их глубинный смысл. Это не просто классический литературный дневник, а сложная биографическая проза, где записи личного характера чередуются с набросками художественных произведений, рассуждениями о политических и культурных явлениях своего времени. В них он спорит, повторяет и подвергает сомнению те или иные мысли, ищет ошибки, что-то зачёркивает и исправляет, создаёт, по верному определению Я.З. Гришиной, «современный текст, открытый для новых дискурсов»¹⁴. Работая над ним, Пришвин, по его выражению, «творил саму жизнь», формировал основание бытия, по евангельскому принципу через слово постигал жизнь, «чтобы слово стало плотью» (1942–1943, с. 501). Схожее определение дала всему своему рукописному наследию и поэтесса О.Ф. Берггольц, в её стихотворении «Не утаю от

¹³ Дневники и воспоминания XVIII–XX вв. Аннотированный указатель по фондам РГАЛИ. Вып. 1. М., 2011.

¹⁴ Пришвин М.М. Дневники. 1930–1931. С. 594.

тебя печали» есть строка: «И я тобой становлюсь, эпоха, и ты через сердце моё говоришь»¹⁵.

Весь архив писателя, включая и рукописи дневников, находится на государственном хранении в РГАЛИ, но пока закрыт для исследователей, что было оговорено при его передаче. Работа по изучению и публикации дневников ведётся в Музее М.М. Пришвина в Дунино высокопрофессиональным коллективом во главе с Л.А. Рязановой – наследницей архива Михаила Михайловича и хранительницей его Дома-музея. Надо отдать должное наследнице и публикаторам дневников Пришвина: они твёрдо противостояли искушениям издательского бума 1990-х гг., когда в погоне за сенсацией и разоблачениями многое публиковалось небрежно и фрагментарно. Отрывки из дневников Пришвина не появлялись в сомнительного содержания статьях «жёлтой» прессы, не растворялись цитатами в ангажированных публикациях о сталинском терроре. Их издание изначально было строго научным. Дневники выходят последовательно в хронологическом порядке по принципу полнотекстовой научной публикации без купюр и редакторской конъюнктуры, с максимальной передачей всех особенностей текста. Ко всему корпусу дневников даётся обширный научный комментарий и справочный аппарат. Именно такие издания позволяют с полным доверием к опубликованному тексту заниматься всесторонним изучением источника, вводить его в научный оборот литературоведческих, текстологических, философских, исторических и культурологических работ.

Чтение текста всегда требует понимания того, внутри какого общества и какой традиции он был создан¹⁶. Дневники Пришвина – уникальный в этом смысле источник. Его автор – человек двух культур, в его судьбе ярко отразился рубеж эпох: он получил европейское образование, в юности увлекался революцией и марксизмом, участвовал в религиозно-философских поисках интеллигенции начала XX в., зрелым писателем прочно и органично вошёл в советскую культуру, заняв в ней место мэтра и классика.

Среди множества сюжетов и мировоззренческих пластов в дневнике писателя следует выделить главную, можно сказать, фундаментальную тему, во многом определявшую его мировосприятие. Таковой для него всегда оставалась идея личной свободы и творческого развития личности. Она начала оформляться в парадигме дореволюционных религиозно-философских исканий интеллигенции, в своих рассуждениях Пришвин опирался на христианское вероучение, западную философию XIX–XX вв., наследие русской литературы. Постоянными собеседниками писателя в его дневниках выступают Ф. Ницше, Г.Ф.В. Гегель, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, М. Горький. Пришвин синтезирует их идеи, преломляет их через своё мировоззрение и актуализирует в собственной жизни, превращённой им в повседневное творчество, в основе которого должна была лежать подлинная внутренняя свобода, понимаемая не как сопротивление режиму, а как единственно возможная форма бытия, делающая человека современным своей эпохе, обществу и культуре. Именно это помогало писателю рассматривать своё время как этап в последовательном развитии истории, в центре которой находится человек, принять и осмыслить советскую эпоху как неизбежный период взросления, когда личности нужно «выйти из общего ума и стать на свой собствен-

¹⁵ Берггольц О. Стихотворения и поэмы 1941–1954 гг. Т. I. Л., 1989. С. 144.

¹⁶ Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.

ный» (Там же, с. 104, 521). В этом он видел парадокс и мессианское назначение советского времени – в эпоху масс и коллективизма должна выкристаллизовываться личность.

А.К. Гладков записал в своём дневнике в 1933 г., когда сам он, начинающий советский писатель, определял для себя цели и задачи творчества: «Я очень люблю Михаила Пришвина. Для меня его проза является какой-то заметной истинной подлинностью, беспретенциозной оригинальностью таланта. Они необходимы мне как свой собственный упрёк отступлениям вольным и невольным от самого себя и от жизни... У меня любовь к нему какая-то родственная, кровная, немного религиозная, она яснее и подлиннее всех ежедневных увлечений»¹⁷. Именно к этой вневременной подлинности и стремился Пришвин в своей жизни и творчестве. Она открывается при глубоком прочтении его литературных произведений, но без метафорических шифров с абсолютной откровенностью выражена им в дневниках.

Читая и сравнивая их с дневниками Ю. Олеши, В. Вишневского, записными книжками А. Платонова, понимаешь, что при всей разнице биографий и положения в литературном процессе связующим мотивом в писательских дневниках советского времени является именно мучительный поиск личной свободы, собственного голоса, определение своей культурной и социальной идентичности, выработка форм поведения, поиск места и статуса, осознание личной ответственности. Так, в начале 1930-х гг. молодой поэт-конструктивист Григорий Гаузнер записал в своём дневнике мысли, вполне созвучные рассуждениям М.М. Пришвина: «Я снова начинаю журнал поведения с целью добиться, сначала, возможно, большей внутренней свободы, а потом быть собой и во вне, не боясь ничего. Кроме того, что сейчас моё поведение неопишимо и я внутренне труслив. Смелость! Смелость! Жить по-настоящему – больно, я хочу жить по-настоящему... Я должен морально вырваться из этого мира на простор столетия. Нужно воспользоваться всем хорошим, что дают РАППы, но не сливаться с ними. Нужно помнить, что и эти люди пройдут. Конфликт тут в том, что я не коллективист по своему складу. Но и этим можно воспользоваться в искусстве»¹⁸.

С идеей рождения, воспитания и взросления народа как единой творческой личности Пришвин прожил 1930-е гг. – период коллективизации, чисток и репрессий, ожесточённой борьбы на «литературном фронте». Последние опубликованные тома его дневников охватывают период кануна и первых лет Великой Отечественной войны (1940–1943 гг.). Война стала рубежом в жизни всей страны, всего народа. Для творческой интеллигенции она стала переломом не только общеисторическим, но в ещё большей степени – духовным. Пришвин назвал этот период освобождением. Война не открывала писателю нечто новое, а скорее воспринималась им как подтверждение передуманного ранее. Он видит в ней ещё один вызов личности – крах европейской культуры и христианской цивилизации и наступление индивидуальной ответственности. Ощущение войны как освобождения часто встречалось тогда в писательских дневниках. Ольга Берггольц, пережившая в 1930-е гг. исключение из партии, арест и тюрьму, писала в первые дни войны: «Так вот, 22 июня 1941 года, когда была объявлена война, – тюрьма отошла и простилась... Я погрузилась в работу, другие – массивные мысли и чувства, овладели душой, довоенная подавленность

¹⁷ РГАЛИ, ф. 2590, оп. 1, д. 74, л. 40 об.

¹⁸ Там же, ф. 1604, оп. 1, д. 1036, л. 33, 35.

исчезла, что страшнее всего, что и у меня, и у Коли¹⁹ совсем исчезло пресловутое томящее “чувство временности”, как будто именно для этих гибельных дней войны мы и жили, ждали только её»²⁰.

Многими война воспринималась как кара и наказание за весь период революций и репрессий, когда происходил уход от личной ответственности в поиски внутреннего и внешнего врага – «тыканье», по определению Пришвина (Там же, с. 313). Писатель по-своему объяснял причины этого пробуждения личности – война во всём обнаружит борьбу за жизнь – свободу, которую человек будет видеть и в самом себе, вновь обретая подлинное чувство Родины: «Кончится война, и мы все ждём наступление второй Родины» (Там же, с. 642). Поразительно, но схожие мысли звучали и в военных дневниках Ольги Берггольц. Занимая совершенно другую позицию по отношению к власти и социалистическому строю, осознавая себя коммунисткой и строителем этого режима, она вступала в войну с покаянным чувством и надеждой на очищение. В одной из дневниковых тетрадей военных лет эпиграфом стоят строки псалма «Аще не забуду тебя Иерусалиме...». Война стала для неё периодом «короткого жестокого расцвета», в годы войны она обрела свой неповторимый поэтический голос и навсегда определила смысл творчества – слово, спасающее и преображающее человека: «И вот доходит в этот горький, отрезанный от мира угол, стих мой, и людям на мгновение в этих углах становится легче»²¹. После победы для неё наступила «вторая Родина» – как создаваемое собственным творчеством и осознанными поступками пространство бытия.

Не случайно в военных дневниках Пришвина почти нет описаний самой войны, побед и поражений советской армии, главными для него темами остаются любовь и творчество (Там же, с. 178). На протяжении всей жизни Пришвин искал невидимого друга в своём читателе, надеясь, что его слово преобразит душу и мысли другого, пробудит в нём желание увидеть в себе личность, которая своими поступками формирует окружающую жизнь. Так возникала невидимая связь между людьми через слово. В личной жизни он нашёл этого друга в любимой женщине – Ляле, и через любовь и сотворчество раскрывал возможности своего духа. «Чтобы понять время или быть современным, – полагал он, – надо понять самого себя через любовь, и что знание без любви не может быть современным, и только одна любовь определяет точку применения силы подвига» (Там же, с. 621).

Материал подготовлен А.В. Мамоновым

¹⁹ Н.С. Молчанов – муж О.Ф. Берггольц.

²⁰ РГАЛИ, ф. 2888, оп. 1, д. 357, л. 18.

²¹ Там же, л. 36.